

А.Ю. Согомонов

УДК 174

**Этический «крестовый поход» барона А.И. Дельвига
(инженерное дело и моральная рефлексия в середине XIX века)**

Барон А.И. Дельвиг (1813-1887) был талантливым инженером и крупным государственным деятелем в период становления капитализма в России. Его многостраничные воспоминания представляют собой не только уникальный исторический источник, но и поистине первую в стране попытку критического анализа трансформации общественных нравов и становления «русского этоса» ранней модернизации. Нестандартность его стиля мышления и образа жизни позволили ему создать яркую картину семантической двойственности в историческом характере русской элиты, а также выступить своего рода архитектором ставшей впоследствии типичной для нашей гражданской культуры модели синкретизма индивидуальной автономности и политической лояльности, идейного либерализма и аксиологии этатизма.

Ключевые слова: инженерное дело, русский этос, моральная рефлексия, аксиология этатизма.

Мы, русские, не имеем сильно окрашенных систем воспитания. Нас не муштруют, из нас не выработывают будущих поборников и пропагандистов тех или других общественных основ, а просто оставляют расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень мало лицемеров и очень много лагунов, пустосвятов и пустословов. Мы не имеем надобности лицемерить ради каких-нибудь общественных основ, ибо никаких таких основ не знаем, и ни одна из них не прикрывает нас. Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем, лжем и пустословим сами по себе, без всяких основ.

М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы (1880).

Имя Андрея Ивановича Дельвига (1813–1887) мало знакомо нашему современнику, в отличие от его двоюродного брата и близкого друга Пушкина, Антона Дельвига. Будучи представителем древнего аристократического рода, а по материнской линии он принадлежал к колену Рюриковичей, Андрей Иванович добился выдающихся успехов не столько на литературном, сколько на государственном поприще. Кадровый военный, который принимал участие во многих воен-

ных кампаниях и Крымской войне, в частности, генерал-лейтенант, сенатор, инженер, организатор грандиозных технологических проектов середины XIX века, полноправный и могущественный куратор железнодорожных путей сообщений, высший сановник при императорском дворе, к которому прислушивались и Николай I, и его сын Александр II. Согласитесь, весьма внушительный список «знаков отличия» для одной биографии. А в памяти далеких потомков он сохранился вдобавок еще и как выдающийся мемуарист.

Барон Дельви́г, действительно, оставил после себя громадное инженерно-промышленное наследие раннекапиталистической эпохи и уникальный литературный труд – воспоминания «Полвека русской жизни» [1], все еще недооцененный исторический источник, в котором он выступил и как включенный аналитик-наблюдатель трансформирующейся российской действительности, и при этом как тонкий моральный мыслитель, попытавшийся не только дать этические оценки своему времени и ее главным действующим лицам, но и сформулировать уникальную ценностно-нормативную «картину мира» – этос российской модернизации. Дельви́г по праву считался символически значимой фигурой в русском публичном пространстве, особенно в правление Александра II. Ему было многое позволено, с его мнением всегда считались, он обладал громадным авторитетом как инженер и гражданский лидер, а его окончательный уход от дел в начале 1880 г. отмечался с большой помпой как грандиозное событие 50-летней службы государству. Похоже, что совершенно не случайно Илья Репин запечатлел инженер-генерала Дельви́га незадолго до его кончины на своем знаменитом полотне 1882 года, который всем хорошо знаком и ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее.

«Полвека русской жизни» как целостное морально-историческое время

Правление Николая I стало заключительным аккордом в долгом кризисе крепостнической России со свойственным старому режиму этосом правящего класса и общественными нравами, крайне слабо в свое время скорректированными русским Просвещением. Рациональная мораль, конституционализм и верховенство права так и не прижились в екатерининской России, примечательно, что и позднее, в царствование ее внуков, в первой половине XIX века особый прогресс в этом направлении так и не случился. И чем ближе страна продвигалась к середине столетия, тем отчетливее слышалось дыхание приближающейся новой буржуазной эры. И она, казалось бы, должна была наконец-то настойчиво потребовать перемен в политике, праве и общественной морали.

Да, должна была. Однако сделала это отнюдь не столь настойчиво, как в соседней Европе и северной Америке. Имперский бомонд в лице правящей аристократической верхушки, высшей бюрократии и новых предприимчивых слоев стремился преимущественно к хозяйственному переустройству и всяческим техническим новшествам, а вдобавок – к новым способам накопления капиталов и их легализации. Но при этом мало кто озадачивался реформами старорежимной морали и патримониальной модели властвования и чиновничьего администрирования. Николай I чтит патриархальный архаизм и ценил психологическую и нравственную склонность к нему в людях. Даже Александр II полагал, что для России достаточно точечных перемен «сверху», к глубинным преобразованиям он был абсолютно внутренне не готов. И поэтому модернизация в середине столетия происходила лишь в отдельных секторах общественной жизни, практически не затрагивая базисных основ и ценностного фундамента империи. Отмена крепостного права, а об этом по-прежнему идут ожесточенные споры среди историков, была непоследовательной и несистемной. Все обретенные «свободы» были урезанными. Александр создавал удобный для себя и политической верхушки обновленный институционально-культурный «порядок».

К середине XIX столетия просветительское движение исчерпало себя, а на авансцену во внутренней жизни страны выходили новые гражданские классы – «в себе» и «для себя» – нетерпеливые революционеры и всеильные консерваторы, противоборствовавшие друг с другом, и по большому счету презревшие российскую глубинку как культурную «серость» и неподвижную квазиобщественную массу. По сути дела, тогда в российской политике опытных и грамотных сторонников последовательной модернизации по образу программ Сперанского почти не оставалось, а разрозненные представители «здорового смысла» так и не смогли консолидироваться в социально значимую группу, чтобы эффективно противостоять как *разрушителям*, так и *рутинерам*. Именно эти две социальные номинации гораздо точнее и корректнее обозначают всех тех, кого традиционно причисляют к станам революционеров и консерваторов.

«Передовой» класс империи¹ видел свою миссию в том, чтобы максимально способствовать технологическому и лишь во вторую очередь гражданскому развитию страны. Стержнем их субкультуры стало поразительное сочетание двух фундаментально значимых трендов, мирно уживавшихся друг с другом: (а) стремление ко всему

¹ Я осознаю всю расплывчатость этого понятия, но за неимением лучшего вынужден пользоваться им.

новомодному в образе жизни и в социально-экономическом формотворчестве; (б) следование тактике социально-нравственного приспособления к традиционным «правилам игры», установившимся в империи даже не в квазипросвещенное екатерининское столетие, а гораздо раньше, то есть в долгий «домостроевский век».

Быть «актуально современными» для знаковых фигур того времени (вторая и третья четверти XIX вв.) означало необходимость постоянного экзистенциального выбора между двумя разными этосами; и в итоге жить больше в культурной логике «казаться», чем стремиться стать самими собой. В результате «передовой» класс на стыке двух царствований – николаевского и александровского – играл одновременно по разным культурным канонам и моральным принципам, то есть, по сути, *жил в сознательно принятых им исторических условиях культурно-нравственного синкретизма*. Что, впрочем, многократно случалось в истории политической культуры отечественных элит.

В активном субъекте того времени ценились отныне квалификация и высокая «научная» (профессиональная) образованность, а не только происхождение и статус, однако по-прежнему гарантом его успеха оставалась безусловная лояльность режиму и трону. Иными словами, он должен был умело лавировать между новизной и старорежимностью, европейскостью и православной «русскостью», имперскостью и либерализмом. Ему не следовало превращаться в пуриста, ригориста и бояться рутинных практик социального взаимодействия. Напротив, надлежало стремиться разбогатеть, но при этом не скаредничать. Любить деньги, накапливать их, но и сорить ими предельно демонстративным образом. Не чураться коррупции и взяток, но знать «меру», а она в свою очередь определялась «чином» в общественно-государственной иерархии. Искренне стремиться к эффективности, но и следовать по возможности допотопным нормам господства и подчинения. И, наконец, он не должен был различать свой государственно-властный мотив и индивидуально денежный стимул. А это все означало искренне переживать за «державу» и не забывать о своем «кармане» и, шире, – личном интересе.

В итоге этой *амальгамы культурных смыслов* мало кому удалось познать и прочувствовать подлинные значения свободы, достоинства и моральной автономии. Без чего собственно невозможен модернистский субъект, если исходить из западного исторического опыта. Жизнь в российских реалиях культурно-нравственного синкретизма породили в этосе «прогрессивного» класса примечательный феномен – *симультанное осуждение и защиту* фундаментальных

основ гражданской жизни в империи, выраженный в том числе в *единовременной* любви и неприятия конкретных персоналий из высших эшелонов власти, так и господствующих в верхах сословных нравов.

Барон Дельвиг на пике своего биографического проекта застал именно это *семантически амбивалентное время* в эволюции империи, да и сам он стал одним из лучших «творений» той удивительной эпохи культурной двусмысленности. В его лице Россия и ее господствующий класс обрели *своего адвоката и прокурора*. Отнюдь не в строго юридическом значении, а, собственно, в *этическом*. Именно – в *одном* лице. Что никак не отражалось на его публичном авторитете. И дело было не только в габитусе барона, если воспользоваться этим латинизированным понятием, ставшим популярным благодаря работам П. Бурдьё, для обозначения зависимости индивидуального биографического пути и культуры индивида от его семейных истоков и последующей жизненной колеи, сколько в полном *смысловом слиянии яркой личности и тусклого морально-исторического времени*.

«Вывихнутое время» общественно-экономических перемен

В «Гамлете» устами главного героя Шекспир выносит вердикт своему актуальному настоящему. После встречи с духом отца Гамлет пробормотал: "The time is out of joint". Эту фразу по-разному переводили на русский язык. Самая известная литературная редакция: «Распалась связь времен». А вот менее популярная версия – «Век вывихнут» – нравится мне гораздо больше. В ней сквозит одновременно и глубокая печаль, и трезвый анализ, как если бы герой осознал, будто история осуществлялась по некоему строгому сценарному плану, правда без чьего-либо конкретного авторства. Пожалуй, это тревожило Гамлета больше всего, как, впрочем, по-прежнему и нас, его очень далеких потомков. Хоть он и не склонен был подчиниться судьбе, но все же отчетливо понимал всю безнадежность своего сопротивления ей. Любопытно, что весьма похожие сентенции мы обнаруживаем на страницах «Полвека русской жизни» Дельвига, хотя он всегда был настроен куда решительнее и оптимистичнее принца датского, но практически всегда «смирался» перед силой фатума.

Николай I, вопреки устоявшемуся в специальной литературе мнению о нем, как о большом ретрограде, на самом деле все же сдвинул империю с мертвой точки. Он искренне желал ее осовременить, но при этом обязательно законсервировать status quo в ее общественно-политическом обустройстве. Только в этом смысле он был рутинером. Впрочем, обстоятельства жизни оказались сильнее всех этих его желаний. Запущенный им процесс технологического обнов-

ления развивался автономно от коллективной воли правящей верхушки старого режима, приводя порой к непредсказуемым последствиям. Примечательно, что сам император себя именовал «Инженером», хотя и недолюбливал почти всех своих свободолюбивых «собратьев» по инженерному цеху. Но история ставила свои условия перед высшей властью и с представителями технической элиты высшей аристократии приходилось искать общий язык.

Император старался вникать во все технические новинки, а по-сему старался лично покровительствовать большим проектам в империи, возможно, и для того только, чтобы не выпустить «прогресс» из-под своего контроля. Ведь это именно Николай дал старт железно-дорожному строительству в стране, а оно в свою очередь повлекло за собой необратимые перемены в социальных отношениях, политической культуре и, что сейчас, пожалуй, самое главное для нас и чаще всего ускользавшее из поля внимания историков – «смене вех» в общественной нравственности. Кстати, в 25-летнюю годовщину своего царствования император самолично опробовал железнодорожное сообщение между двумя столицами (правда, не до конца еще достроенной), предприняв совсем небезопасное путешествие, и все же остался весьма довольным этим технологическим новшеством [1:1, 546-547].

Безусловно, Николай I искренне хотел сохранить империю в некоем законсервированном состоянии, и он отчетливо осознавал, что железнодорожное строительство откроет дорогу иностранному капиталу (строительство такого масштаба без зарубежных денег было абсолютно не вероятно), равно как и быстрой аккумуляции капиталов у национальной буржуазии. Современному читателю может показаться странным, но тогда многие русские мыслители полагали, что железные дороги несут народам просвещение и цивилизацию. Оттого и отношение у властей к строительству путей было неоднозначным: прозападные универсалисты, подобно Белинскому, связывали с железной дорогой большие надежды на «раскупоривание» консервной банки русского крепостничества; рутинеры же не без оснований видели в ней большую угрозу для сбалансированной устойчивости мало динамичной и немобильной русской жизни.

И все-таки с высочайшего соизволения старт был дан. Первоначально было решено предоставить шанс для ее строительства российским частным предпринимателям, но они быстро обанкротились, в том числе и по причине прямого столкновения с николаевской финансовой и чиновничьей системой. Дело было решено продолжить за казенный счет. В результате строили долго, государственные средст-

ва открыто разворовывались, беспощадно эксплуатировалась крепостная рабочая сила. Транзакционные издержки сделали дорогу буквально «золотой». И это ознаменовало собой рождение «новой» нормальности в России. Швыряние деньгами, впрочем, и ранее было типично для русского «характера», но в николаевское время изменились масштабы и обнаружилась нарочитая демонстративность, что никак не укладывалось в голове рационального профессионала, которым был барон Дельвиг.

В первые восемь лет нового строительства путей сообщений сложилась особенная «русская» модель инфраструктурной модернизации России, которая мало видоизменялась с годами. Историк Заславский Д.О. определил ее словами Н. Некрасова «разбой под видом честных спекуляций». Во главе системы стоял высший генералитет. Работы передавались армии подрядчиков, они наживались неизменно, но всегда оставались в подчинительном положении к политическим верхам. Весь этот сложный механизм приводился в движение взятками и откатами на всех уровнях, хотя, возможно, больше всех нечестно наживались чиновники нижнего и отчасти среднего уровней бюрократической иерархии [2, 7]. А масштабы того строительства были очень внушительными, более трех четвертей вложений государства в экономику империи шло именно на железные дороги.

При Александре II эта модель была лишь немного откорректирована, основной акцент был сделан отныне на развитии частного концессионного предпринимательства. И тогда сами «концессии» становились объектами торгов, продаж и перепродаж. В издержки включались колоссальные средства, предназначенные на подкуп и взятки. В итоге частные капиталисты стали строить эффективнее и дешевле, но по-прежнему сердцевиной всей этой модели оставался союз титулованных посредников и предприимчивых новоиспеченных миллионеров. Простой государственно-хозяйственный разбой сменился на частнопредпринимательский и, по сути, в организации модернизационного движения России ничего принципиально не поменялось.

Слияние власти и денег стало еще более органичным, устойчивым и оттого – *легитимным*. По крайней мере, такое впечатление складывается на основании анализа множества афер подобного рода, сделанного бароном Дельвигом [см., в частности: 1:2, 394-403]. Кроме рядового взяточничества ему приходилось регулярно иметь дело с обычной «нерасчетливостью», которая не только удручала барона, но по его признанию, и «постоянно расстраивало нравственно» [1:2, 414]. Впрочем, как правило, дальше *моральной депривации* дело не доходило. Эту модель барон тоже считал «соревновательной», но, правда, не имеющей ничего общего с честной конкуренцией совре-

менного типа. В своих воспоминаниях только продажу в частные руки Московско-курской дороги в 1869 г. Дельви́г охарактеризовал как *исторически первую сделку*, сделанной не в убыток, а с выгодой для казны, и «при которой не потребовалось давать кому-либо взятку» [1:2, 469]². И при этом он не удивлялся тому, что о сделке мало кто знал из высших лиц империи, что, по его мнению, лишь доказывало, «как мало интересуются государственными делами люди, если в этих делах они не предусматривают личных выгод» [1: 2, 472]. То есть, похоже, только с начала 1870-х гг. наступали новые времена и на «передовую» российской модернизации выходили принципиально иные субъекты – московские капиталисты (чижовы, мамонтовы, рукавишниковые, морозовы и им подобные). Именно им предстояло выправить «вывихнутое время», но уже без содействия удалившегося от службы барона Дельви́га. А главное направить модернизационный процесс в русло верховенства права и отделения денег от власти.

Дельви́г прекрасно понимал, как все работало ранее, в обоих царствованиях, и честно описал эту модель. Он видел, что правительственные лица лишь формально ведали проектами, а все ниточки фактически вели к царственному престолу. Дельви́г пишет о бойкой торговле концессиями, которой руководили великие князья и фрейлины Александра, да и нередко сам император. Образовался примечательный «сговор», в тайны которого были посвящены единицы. Самодержец без какого-либо нравственного стеснения мог благоволить одним капиталистам и изгонять других. К правовому государству и либеральному порядку все это не имело никакого отношения. Но важнее всего для Дельви́га было не столько запечатлеть в памяти формальные правонарушения, сколько зафиксировать утверждение в империи совершенно не приемлемого для ее буржуазного развития нерационального и, по существу, аморального этоса в политике и бизнесе [о регулярных вмешательствах царя, см., к примеру, 1:2, 361; 1:2, 369]. Позднее уже на закате своей карьеры он очень емко определил те превратные казусы своего попадания в подобные ситуации морального выбора, как собственную «нравственную смерть» [1:2, 350]. И в 1869 году, в известном смысле доведенный до этико-профессионального отчаяния, сначала решил покинуть свой высший административный пост в министерстве путей сообщения, но

² Подобную по эмоции мысль Дельви́г высказал в 1871 г. и по поводу политического суда над С. Нечаевым, которые он тоже охарактеризовал как *первый* процесс, проведенный законным порядком.

после уговоров остается на какое-то непродолжительное время в качестве главного управляющего министерства. И это был заключительный аккорд в его долгой профессиональной карьере.

В марте 1871 года во время очередного доклада императору, государь, говоря об устройстве железных дорог, прямым образом командовал Дельвигу, кому отдать концессию. Позже об этом казусе Дельвиг напишет: «Слова эти меня поразили до такой степени, что я уже не помню моего ответа. Я не мог себе объяснить, объявил ли государь мне непереносимое повеление или только пожелание...я не допускал мысли, чтобы неограниченный монарх империи с 80 миллионами населения мог входить с какою бы то ни было целью в денежные расчеты и требовать от своего министра поступить в столь важном деле против совести. Это мне было тем больнее слышать от государя, к которому я имел особенную преданность за освобождение крестьян от крепостной зависимости. За дарование новых судов, некоторые свободы печати и за многие другие благодетельные реформы, вследствие которых жить вообще стало легче...» [1:2, 420-421].

Нравственный конфликт – налицо. Барон был потрясен не только тем, что император делал ему сомнительные приказы, но и чисто профессионально считал это нерациональным. Он не мог принять сам факт того, что простое «покровительство» решает судьбы эффективных концессий. Для чего, спрашивал он себя, тогда все процедуры, расчеты и изыскания [1:2, 427]. Вскрытые обстоятельства оказали такое психологическое воздействие на Дельвига, что он решил, что не может более оставаться в должности и принял решение отказаться от нее под предлогом слабости зрения. Но уйти в отставку так «просто» было тогда весьма затруднительно, учитывая неправовой характер сословной монархии. Дельвиг очень образно опишет впоследствии суть конфликта: «...я всегда полагал, что создан не из той глины, из которой пекутся министры в России» [1:2, 430].

Увы, это понимание пришло слишком поздно, скорее, подводило *этический итог* биографическому проекту барона, а не выступило его стартовым принципом. Все последующие встречи с императором приводили барона к состоянию еще большего «нравственного потрясения» и он продержался на посту управляющего министерства лишь до 21 мая 1871 года, когда его прошение об отставке было все же «всемилоостивейше соизволено» [1:2, 376].

Многоликий Барон Дельвиг

13-летним юношей Дельвиг поступил в военно-строительное училище, по окончании которого был зачислен в институт путей сообщения. В то время это был самый передовой институт высшего

технического образования в России, в основном ориентированный на фундаментальную европейскую науку, в котором преподавали преимущественно французские профессора и, соответственно, по-французски. Долгое время после этого почти все вновь основанные технические вузы, в том числе и петербургский политехнический, в качестве модели-образца ориентировались на институт путей сообщения [3].

Вся дальнейшая судьба барона на поприще государственной военно-инженерной карьеры была predetermined этим удачным образовательным стартом. 20-летним выпускником он возглавляет первый в своей биографии грандиозный инженерный проект по организации московского водоснабжения, который им успешно реализовывался с перерывами долгие годы, и завершен в том числе изданием капитального научного труда «Руководства к устройству водопроводов». Позднее историки сочтут эту книгу крупнейшим явлением в развитии отечественной технической литературы. В своей долгой инженерной карьере он руководил проектами разного свойства по строительству всевозможной инфраструктуры, шоссейных дорог между крупными городами, мостов, обустройству набережных в крупнейших городах империи, организации судоходство и т.д. Он почти десять лет возглавлял также архитектурный совет комиссии для построения храма во имя Христа спасителя в Москве. И многое, многое другое в сфере гражданского и военного инфраструктурного производства. Но все же расцвет его карьеры связан именно с железнодорожным строительством. Как талантливый инженер высочайшей квалификации он изначально был прикомандирован к управлению путей сообщения. И отдал этому прорывному для судьбы страны государственному делу большую часть своей профессиональной биографии. Бесконечные рассказы Дельвига о событиях внутривнутриполитической истории страны так или иначе были связаны с его курированием железных дорог и, в частности, с самой главной из них – Царскосельской.

При Александре II барон Дельвиг сначала состоял в должности главного инспектора частных железных дорог, затем он перешел в правительство и в итоге становится заместителем министра путей сообщения или, как тогда говорили, «товарищем министра» с правом совершать доклады лично императору. Именно при нем российская железная дорога обрела тот классический вид, который мало изменился с тех пор, а железнодорожные символы и аббревиатуры так и вовсе не поменялись. Большая часть станций была построена под его неустанным контролем. По его вдохновляющему примеру были инициированы железнодорожные школы и назначались именные стипендии. Дельвиг уделял пристальное внимание внешнему облику

вокзалов, хотя, к сожалению, большая часть из тех архитектурных шедевров сохранилась лишь на чертежах и фотографиях.

О мировоззрении и социально-философских взглядах Дельвига можно с уверенностью судить, опираясь на его воспоминания. Еще в бытность студентом он распознал в нелюбви императора к инженерам-путейцам глубоко запрященный на уровне подсознания страх Николая I перед цивилизационными последствиями развития железных дорог в стране. Ведь царь вполне разумно полагал, что это приведет империю к неизбежной демократизации, а в его картине мира это означало полный крах. И, соответственно, в выпускниках железнодорожного института император видел, прежде всего, вольнодумцев и, как показала история, совершенно впустую. На примере только одного барона Дельвига видно, что все эти опасения порфириносца были абсолютно напрасными. Путейцы мыслили и действовали как подлинные этактисты, пусть даже и без лишнего и показного псевдопатриотического пафоса.

Барон Дельвиг при всей независимости своей жизненной позиции был именно таким государственным до мозга костей³, а не «презренным» лоялистом из сопредельных правительственных ведомств, коленопреклонённых перед всяким вышестоящим рангом. У него по-разному складывались отношения с высшими чинами, в том числе и в профессиональной сфере, об этом его современники складывали легенды. Он неизменно отстаивал свое право высказываться прямо и порой нелюбезно даже в высшие адреса. Он любил свободную мысль, не боялся критиковать российские порядки и первых лиц из первопрестольного бомонда. Критиковал пагубные нравы двора и вороватой аристократии, коррупционеров и взяточников имперской бюрократии. Более того, с неодобрением он относился к отсутствию верховенства права в стране, хоть и списывал это на особенности исторического времени⁴. Но при этом Дельвиг всегда оставался сторонником как монархической власти, так и сословного обустройства российского «гражданского» общества, и, пожалуй, вполне раз-

³ К Дельвигу часто обращались в надежде на его участие, но он неизменно стоял на защите интересов империи. А про себя он говорил, что был человеком «непригодным для вспомоществования к обделыванию невыгодных для казны дел», чем очень часто раздражал коррумпированную русскую элиту [1:2, 335-336].

⁴ Повествуя о нравах московского генерал-губернатора Закревского, он как бы мимоходом замечает о характере его административных злоупотреблений: «...таково было время: высокопоставленные лица полагали, что они не должны подчиняться тем постановлениям, которым подчинены все остальные» [1:2, 18].

делял тезис о том, что именно император являлся «главным символом» России.

Барон с детства был вхож в литературные кружки обеих столиц, чему безусловно способствовало близкое родство с лицеистом Антоном Дельвигом. Он был близко знаком с теми творцами изящной словесности, кого мы сегодня по праву называем классиками русской поэзии и прозы. И в своих мемуарах оставил весьма критические портреты многих из них. Дельвиг невзлюбил Пушкина за его заносчивый характер, хоть и отдавал должное его поэтическому гению [1:1, 198]. Дружил с Герценом, а будучи в Лондоне в 1858 г. и позднее в 1860 г., часто встречался с ним, читал и держал у себя номера его журнала «Колокол», который высоко ценил [1:2, 80-81, 114]. Хоть и прекрасно понимал, что за это можно было не только распрощаться с карьерой, но и даже сесть в тюрьму.

При этом он отнюдь не симпатизировал русским западникам и либеральной мысли в целом. Впрочем, никогда и не дрейфовал в сторону откровенного славянофильства и православного почвенничества. Его стиль гражданского мышления можно, скорее, охарактеризовать как *национально-этантистский*. Он вдумчиво размышлял и всегда действовал в интересах того, что он сам называл, «благоустроенным государством», руководствуясь гуманным правом. И, что важнее всего, ему была не свойственна чванливая державность, при этом свое «патриотическое чувство» он никогда не скрывал, но и не выпячивал особо [1:1, 197].

Дельвиг не играл на публику, не гордился своим древним происхождением и родственными связями с аристократическими родами России. Его жизненная философия была наполнена прагматическим реализмом и критическим патриотизмом. А в весьма сложных международных вопросах, в том числе и в деликатных отношениях с польским царством, к которому он не скрывал антипатии, очевидно, придерживался великорусской позиции. В своей любви к российской империи (а это точнее, чем сказать к «родине») он никогда не переходил грани и чурался великодержавного нарциссизма. И поэтому, возможно, в силу свойственной ему прямолинейности и непредвзятости в суждениях, многие современники считали его по характеру человеком тяжелым и даже неприветливым.

Мемуары барона Дельвига как исторический источник

Воспоминания Дельвига действительно охватывают полвека, приблизительно с 1820 по середину 1870-х гг. Но это вовсе не бесконечно широкое смысловое полотно, привычное для традиционного автобиографического жанра. Они изобилуют множеством деталей и

любопытных наблюдений автора, создающих целостную и довольно неприглядную картину общественной, хозяйственной и литературной жизни империи на переломе исторических эпох. И все это нагромождение бытовых и политических фактов, явлений, впечатлений, зарисовок сделано сквозь призму биографического проекта Дельвига, который он очень умело упаковал в форму живого публицистического рассказа. Читателю может показаться, что барон будто бы делал дневниковые записи на протяжении всей своей жизни (ну ведь невозможно помнить такое количество деталей!), а систематически приступил к их художественному оформлению и составлению собственно мемуаров после того, как удалился от больших дел и принял для себя ответственное решение не только поведать о своей насыщенной примечательными событиями биографии, но и попутно составить ничем не приукрашенный нарратив об истории порядков и нравов российской империи в действиях и лицах на стыке двух исторических эпох, хотя и представлявших одно единое морально-историческое время.

Это правда лишь отчасти, на самом деле Дельвиг замыслил составление своих воспоминаний лишь на старости лет и нам остается лишь поверить его признанию, что он якобы «никогда не вел никаких записок, и “Мои воспоминания” пишу на память» [1:2, 352]. Начал он писать воспоминания в 59 лет и, опасаясь, что ему может не хватить терпения и времени, писал их тематическими блоками и отдельными эпизодами, но позже все-таки выстроил все повествование в хронологическом порядке, намереваясь читать их вместе со своей супругой [1:2, 379].

В мемуарах барон Дельвиг открыто выступал на стороне нарождавшегося русского капитализма, однако при этом он всегда оставался «своим» для высших бюрократий в обоих царствованиях. Его либерализм ограничивался лишь признанием частнопредпринимательской инициативы как легитимной, эффективной и вполне легальной, что не мешало ему с завидной периодичностью получать причитающиеся по его заслугам на ниве защиты государственно-имперских интересов сословные чины, ордена, да и немалые денежные вознаграждения. В воспоминаниях он выступает, скорее, как объективный свидетель переломной эпохи, не пощадив никого во имя каких-то высоких абстрактных ценностей или идей. Но, ведь, все описанные им «безобразия» происходили не просто у него на глазах, но и при его порой благожелательном соучастии, и в том числе при постоянных публичных уверениях в своей искренней приверженности православию, сословной организации общества и монархическому патриотиз-

му, на что неизменно обращали внимание советские историографы [4, 23].

Как часто в переломные моменты долгой эволюции нашего отечества история выдвигала на авансцену выдающихся личностей, *нравственная судьба* которых написана как будто бы под копирку. У всех у них удивительным образом обличительная гражданская критика и безусловная государственная защита не вступали в противоречие друг с другом. И это, я думаю, нельзя объяснить одним лишь конформизмом наших великих соотечественников. У данного феномена более глубокие предпосылки, познать которые нам помогают, в частности, мемуары Дельвига. И хотя бы в силу этой внутренней смысловой последовательности его воспоминания заслуживают полного доверия как этико-исторический источник⁵.

Понимал ли Дельвиг, что рукопись по многим причинам лучше будет издать после смерти, видно по тому, что деньги на ее доработку и публикацию он заложил в своем завещании. Он хотел, чтобы рукопись вышла в 5 томах, и завещал ее Московскому публичному и Румянцевскому музеям (ныне это единая публичная библиотека им. Ленина). И все же прошло около четверти века, прежде чем в 1912–1913 гг. воспоминания увидели свет. Правда в четырех томах, а не пяти, причем как выяснилось позже с большим количеством купюр и редактуры, что вовсе не входило в планы покойного. И будь автором не барон Дельвиг, российская цензура вряд ли допустила бы это издание вообще, настолько его воспоминания воспринимались многими читателями как остро критические и даже обличающие режим, порочащие высокопоставленных лиц империи.

И, как принято было писать в то время, его портреты часто были составлены в «недозволительных выражениях». Частично эта цензорская забота была снята за счет непозволительной редакции первоисточника, то есть по сути – фальсификации. И есть поверье, что сам барон в начале 1870-х гг. подозревал, что совершаемое им рассекречивание тайн государственной и интимной жизни российских элит, если и будет дозволено к открытой публикации, то не ранее чем лет через сто после его смерти. Громадная работа исследователей и

⁵ Оставим на суд историков вопросы фактологической точности излагаемых в мемуарах событий, мне в предлагаемом очерке важнее положиться на этот текст как на *релевантное этико-философское отражение нравственной семантики эпохи*. Между прочим, филологи давно включили воспоминания Дельвига в число наиболее объективных и правдивых источников по истории пушкинского круга русских литераторов первой трети XIX века.

архивистов была сделана по восстановлению первоначального варианта текста рукописи уже после революции, и его полноценная публикация наконец свершилась в 1930 г. в двух громадных томах общим объемом около 150 а.л., кстати, тоже с определенными купюрами, о которых составители и редакторы честно признавались [1].

Рукопись громадна и составлялась бароном более десятилетия. Он включил в свои воспоминания «частности», которые зачастую воспринимались исследователями как «преходящий материал», не имевший ни исторического, ни общественно-политического значения в XX в. Разумеется, если у вас в руках первоисточник, которому можно всецело доверять, то трудно устоять перед вполне естественным искушением выбрать из него и сохранить для будущих читателей прежде всего все небанальное, неожиданное и вызывающее по меньшей мере удивление. Сам Дельвиг не считал свой труд сугубо «разоблачительным», он честно описал свою жизнь, не считая необходимым скрывать от внимания читателей такие детали русского бытописания, которые могли быть восприняты как факты, порочащие чью-то репутацию.

Одним словом, воспоминания Дельвига – уникальный для всей дореволюционной мемуаристики труд, в котором разные академические ученые обязательно найдут значимую для их профильной специализации историческую информацию. Для нас же инженер-генерал Дельвиг открылся с неожиданной стороны, как социальный мыслитель, тонко чувствующий свое время и нравственно рефлексирующий субъект, наиболее полным образом раскрывший суть и особенности общественно-политического характера русской элиты на стыке двух эпох.

Этос «вывихнутого времени» в трактовке Дельвига

Разумеется, Дельвиг был прежде всего практическим человеком, он и не мыслил себя в непривычном для государственного человека качестве социального исследователя, задача которого по мере возможности адекватно познать ту или иную историческую реальность и корректным образом отобразить ее в своих текстах. Но в его воспоминаниях случилось именно это, и поэтому само сочинение можно расценивать как отчасти научно-аналитическое.

Дельвиг очень чутко улавливал дыхание новой капиталистической эры в России и в остальном мире, понимал и принимал ее ценности и «дух». Он весьма прилежно исполнял свои служебные и инженерные обязанности, но при этом, как чиновник высокого ранга, вел себя, мягко говоря, совершенно неординарно. Там, где среда провоцировала его к коррупционному поведению, он демонстративно не поддавался этому искушению, вызывая искреннее удивление у

всех вокруг себя. Там, где можно было не заботиться о казенных финансах и «транжирить» их, он, напротив, распоряжался деньгами крайне рачительно и экономил «последнюю казенную копейку». Там, где можно было бы пойти стандартным инженерным путем, он всегда искал необычное и наиболее эффективное решение. Словом, поступал с точки зрения окружающих – «невпопад». А на закате карьеры, будучи потрясенным авторитарным нажимом со стороны Александра II, который требовал от него раздачи частных концессий без учета конкурса в интерес своих ставленников, Дельви́г чуть ли не разорвал полностью со своей государственной службой, настолько аморализм императора поразил его. Он был убежденным сторонником честных и конкурентных процедур, но страна была очевидно не готова к верховенству права, и принципиальность барона постоянно приводила к нравственным конфликтам даже с престолом. Такое поведение по тем временам было попросту самоубийственным. Впрочем, Дельви́гу все-таки всегда удавалось сохраняться «в обойме» несмотря на неудовольствие со стороны верхов и постоянные интриги против него.

Его персональный *modus vivendi* буквально во всем контрастировал с общепринятыми «правилами игры», что, как мне кажется, и создавало необходимое *conditio sine qua non* для *этического познания* социальной реальности и общественных нравов. Свои глубинные представления о «нормальности» он системно никогда вербально не предъявлял читательской аудитории, но апеллировал к ним как к некой подразумеваемой нарративной метарамке, без которой его личное повествование потеряло бы всякий публичный смысл. В своих воспоминаниях он не шел на сделку с совестью и честно описывал то, что наблюдал и во что искренне вникал. Если не располагал достоверной информацией, то признавался в этом. Не сгущал краски и не приукрашивал свой рассказ домыслами. Не щадил ни гениев, ни вельмож. Не шел на компромиссы с верховной властью, не прибегал к замалчиванию даже тогда, когда целесообразнее было бы все-таки отмолчаться.

Всю свою полувековую карьеру он трактовал как долгое высшее «служение»⁶, как часть своего «патриотического долга» (не скатыва-

⁶ Вспоминая про графа Шувалова, шефа жандармов при Александре II, Дельви́г предъявляет свое понимание такого государственного служения: в нем не должно быть «самовластия» и обязательно присутствовать «государственный ум» и «бескорыстие» [1:2, 512]. Вполне емкая характеристика для деятеля модернистского образца, наделенного большой властью. Именно этого он не обнаруживал в характере Шувалов. И таковых деятелей в современной ему России, особенно в 1870-е гг., когда внутренняя политика обрела очевидный ретроградный крен, было предостаточно.

ясь при этом в излишнюю патетику), и потому внутренне страдал от того, что постоянно вступал в нравственный конфликт со временем⁷. Впрочем, я уверен, что в иных обстоятельствах жизни он бы и не развил в себе талант оригинального повествователя и морального мыслителя и остался бы в коллективной памяти как выдающийся инженер и организатор. В итоге его «Полвека русской жизни» стала блестящим примером русской публицистики и при этом памятником русской словесности, написанным человеком с необыкновенным художественным даром самобытного писателя, пусть и любителя. В воспоминаниях Дельвига этос «вывихнутого времени» нашел свое отражение как в целом, так и во множестве микроскопических деталей.

Все социально-нравственные зарисовки барона Дельвига, по сути, схватывали наиболее фундаментальные черты этоса российской власти и раннего предпринимательства и, таким образом, были сконструированы им как будто бы на столетия вперед. Предложи нашему современнику текст Дельвига без обложки и других опознавательных знаков и ни одному из читателей, я убежден, не удастся избавиться от ощущения *deja vu*, которое неизменно сопровождает чтение его воспоминаний, настолько ясно в них выражена самая суть «русского этоса»⁸. И поэтому его книга предельно актуальна, а вынесенные Дельвигом *этические вердикты* по-прежнему *злободневны*, как если бы нас не разделяли полтора столетия богатой на события и перемены отечественной истории.

На протяжении всей своей жизни Дельвиг сталкивался с непри-

⁷ Дельвиг пишет об идеологических принципах, на которых базировалось русское образование достаточно серьезно, но и при этом с известной долей ироничности. «От нас требовали полного уважения к родным и вообще к старшим. Царь был для нас вполне священным лицом. Малейшего суждения о религиозных предметах, о царской фамилии, о старших отнюдь не допускалось. Россию представляли нам первою державою; веру нашу религией высшей всех прочих; русский народ – наилучшим народом. В нашей истории все прошедшее было торжественно; одна наша земля производила святых; у нас героев всякого рода было множество; цари были благодетели. Петр великий – герой преобразователь; Ломоносов – герой ученый; Суворов – герой полководец». [1:1, 43]. Читая эти строки, поражаешься не просто сходству, сколько буквальному смысловому совпадению в воспитательном официозе царского и советского периодов, да и нынешнего времени тоже.

⁸ Разумеется, такие понятия, как «русский этос» и «русская ментальность», больше смахивают на публицистические метафоры. Но они настолько прижились в нашей литературе, в том числе и научной, что приходится к ним прибегать, хотя я понимаю, насколько они расплывчаты и неакадемичны.

емлемым, с его точки зрения, отношением самодержавия к той гражданской деятельности, которая предполагала автономность и свободу. Через все его воспоминания красной нитью проходит сюжет о нелогичности верховной власти. Еще в годы учебы он прочувствовал настороженность, если не сказать враждебность, императора по отношению ко всякого рода инновациям, последствия которых были непрозрачными и могли обернуться против царского всемогущества. Объектами нетерпимости становились как явления, так и люди, которые своим профессиональным делом избирали именно инновационные виды деятельности. И инженерной профессии это касалось в первую очередь.

Соответственно, и инженерное образование воспринималось властью как необходимое и неизбежное зло. Неизбежное, поскольку без технологического прогресса страна все дальше откатывалась назад в сравнении с развитыми европейскими державами и, тем самым, снижался военно-политический ресурс империи. Необходимое, поскольку для высшего сословия плюсы от инженерного прогресса были очевидны не только с государственной точки зрения, но и могли быть прочувствованы на уровне их повседневного образа жизни. А это был лучший «термометр» для измерения сословного настроения, ведь, прежде всего, именно отечественная аристократия становилась главным выгодоприобретателем от технологического прогресса. Ну и наконец, *злом*, потому что жители страны по факту становились более свободными и независимыми, и, главное, без относительности от того, требуют ли они конституции или нет (для Николая, пережившего декабрь 1825 года, даже простое упоминание или намек на конституцию был главным критерий политической дестабилизации). И, поэтому, в верхах считалось, что через технический прогресс подданные становятся по своему умонастроению и гражданскому менталитету куда ближе к современным им европейцам, чем сохраняют преемственность с воображаемыми образцами русского домостроя. А симпатии царя располагались неизменно на стороне рутинеров.

Николай, не случайно, считал, что выпускники инженерных институтов все до одного вольнодумцы. Так его «страхи» описывает Дельвиг. Впрочем, в этом просматривалась своя властная «логика». Развитие железных дорог в XIX веке воспринималось как *цивилизационный процесс*, отчасти и в том смысле, какой в это понятие вкладывал Норберт Элиас [5]. Движение к национальной и общемировой гражданственности буквально и метафорически шло по/через железные дороги. Эту искреннюю веру в них, как якобы способных без потрясений и революций преобразить мир к лучшему, разделяли многие русские мыслители. Белинский, в частности, был безусловным

сторонником такого взгляда на инженерный прогресс. Соответственно, признаком консервативности мышления становилось неприятие железных дорог как объективных разрушителей традиционным устоев. По мнению рутинеров, если пространственная мобильность населения империи значительно облегчалась, то ожидать надлежало и последующих «подвижек» во всех остальных сферах жизни и в политике в первую очередь. Иными словами, логический мостик легко перебрасывался с материального объекта на гражданскую культуру: а раз осознанно или нет инженеры своим профессиональным занятием способствуют свободе, то и сами они обязательно должны стать вольнодумцами.

Где же тогда искать общий корень зла? Очевидно, в знаниях, точнее: в их *разрушительной силе*. Нельзя сказать, что Дельвига удивляла подобная глупость императора и остальных рутинеров. Но он не раз в воспоминаниях фиксирует главное социально-этическое наблюдение всей своей жизни, а именно – устойчивое *эпистемологическое отторжение* инновационных профессий со стороны верховной власти. Однако с инженерным знанием – его производством и распространением – властям приходилось мириться. Оно, хоть и принималось внешне позитивно как источник благополучия всей империи, но все же всегда настораживало, а посему этически окрашивалось в негативные тона.

Дельвиг довольно емко и весьма эвристично сформулировал главное жизненное кредо императора Николая I: «ученых не нужно, нужны исполнители» [1:1, 271]. Судя по тому, как мимоходом и неэмоционально он его процитировал, похоже, что сам барон не готов был вменять эту моральную позицию императору в вину. Но именно эта сентенция как нельзя лучше характеризует властный этос в России в целом и, похоже, что с тех пор мало что изменилось в отношении властей к «классу» профессионалов. Во время царствования обоих императоров в общественном разделении труда происходил переход от модели, основанной на лояльности, к модели, основанной на знаниях и квалификации. Николай же еще мечтал о синкретизме обеих моделей, но уже во второй половине столетия от этой иллюзии отказались: политические предпочтения приходилось отдавать знающим профессионалам.

Этот трансфер давался стране очень тяжело. С одной стороны, в XIX веке экономика и государственное администрирование настолько усложнились, что требовалась совершенно иная знаниевая подготовка управленцев. Но и передать общество и хозяйство в руки новому образованным людям было, очевидно, опасным безрассудством для старого режима. Тем более, что в первой половине столетия

сформировалось поколение, с легкой руки наших литераторов и критиков, именовавшееся «лишними людьми», уровень образованности которых был для России беспрецедентно высоким, но при этом в практическом применении они оставались «никчемными» людьми. И это еще больше укрепляло власть в презрительном отношении к самому фундаментальному знанию и блестяще образованным людям, подобно Чаадаеву [1:1, 220-221], который, кстати, в какой-то момент был объявлен «сумасшедшим» и элиты легко приняли этот псевдо-медицинский вердикт.

В этом отношении властям не оставалось ничего другого, как просто апеллировать к верноподданничеству и исполнительности, как заглавным и потому позитивным чертам этоса «людей дела». Не важно при этом, в каком «деле» человек себя реализует и что он о себе думает, вся его социальная активность внешне должна была просматриваться сквозь призму *аксиологии этатизма*, то есть служения трону, как фундаментальному ценностному символу режима. А для удобства и успокоения совести таких, как барон Дельви́г, трон семантически отождествили с государством, а патриотизм – со служением монархии⁹. Мотивируя свой отказ от высоких должностей на закате своей карьеры, Дельви́г пишет: «Я даже находил, что если я буду назначен министром, то в моем положении я буду играть между другими министрами, по неимению никакой поддержки у государя, последнюю роль, которой я не вынес бы, так как я привык с самого начала моей службы быть заметным лицом между моими товарищами» [1:2, 351]. Утрата «лица» – очень точный диагноз для понимания кризиса профессиональной этики современного образца.

Надо заметить, что сам же Дельви́г, всегда оставаясь последовательным монархистом-этатистом, разделял при этом совершенно другой взгляд на инженерное дело и профессиональное образование. Это позволяло ему высказываться критически по отношению ко всему ретроградному. Он мыслил инженерное дело скорее, как автономную сферу деятельности с высшей *общественной телеологией*. Он часто докладывал при дворе свое «особое мнение» несмотря на то, что часто его от этого отговаривали весьма солидные в имперской иерархии люди.

Его поражало то узкое социальное видение и полная оторванность от жизни простолюдина, которое было свойственно даже са-

⁹ В разговоре с министром он однажды обмолвился: «я отвечал, что, всегда готовый исполнить волю государя, на все согласен» [1:2, 382]. И в этом чистосердечном признании не было ни толики лицемерия, таково – его жизненное кредо.

мым ярким умам России. К примеру, даже Чаадаев так и не смог понять, судя по рассказу Дельвига, для чего нужен был второму по размерам мегаполису империи новый водопровод. Для барона истинный этатизм – это принятие на себя государственнической миссии, которую он рассматривал как преломленную сквозь призму проблем и нужд широких слоев российского общества и, прежде всего, городского населения страны. Одним словом, на одной чаше его «этических» весов размещалось качество жизни людей, на другой – государственное величие. И, похоже, первая всегда перевешивала. Вот почему он никогда не поддерживал ни дворцовые имиджевые игры, ни чиновничью склонность пускать пыль в глаза. Но при этом его жизненная «мерка» отвечала стандартам рационально-профессионального этоса, в том числе и с другой стороны: *изобретательность и рачительность инженера должна быть вознаграждена*. Дельвиг всегда был крайне раздосадован, когда не получал полагавшихся по логике здравого смысла выдающегося инженера адекватных наград. Хотя, казалось бы, куда больше. Репин с трудом уместил главные из его наград на своем портрете барона.

И все же, справедливости ради, следует заметить, что критика порядков, нравов и отдельных лиц у Дельвига никогда не выходила за *рамки дозволено приемлемого*. Он удивительным образом в своей долгой службе не стал ни рутинером на старости лет, ни разрушителем на старте карьеры. Не поддавался на искушение быть щедро прикормленным на ниве гиперлояльности, ни скатился в пропасть русского нигилизма. В результате он всегда оставался до известной степени «чужим» на поле семантической двусмысленности «вывихнутого времени». Именно поэтому, я думаю, он смог отважиться на свой этический «крестовый поход» против господствовавших ценностей и норм, ничего не имевших общего с рациональным этосом проекта Модерн.

Причем именно ценностей и норм Современности, а не политического и экономического строя, сторонником которых он оставался до самых последних дней. Его бесило всеобщее взяточничество, точнее, как он сам сформулировал: «ни шагу не делалось без взяток», в том числе и в дворянской среде [1:1, 281]. Он не терпел злоупотреблений на почве крепостнических отношений, но и не видел в них угрозы для развития страны, хоть и приветствовал в свое время отмену крепостного права. И поскольку Дельвиг сам собой олицетворял новый тип модернистского субъекта, постольку и оказался волей судьбы у истоков русской «колеи» модернизации.

А именно: вполне может считаться одним из *архитекторов* ставшей впоследствии типичной для России модели гражданского поведения для яркого ума и талантливому профессионала. Его образ действий был продиктован профессиональной этикой, а не девиантными верноподданическими мотивами. Его индивидуальный стиль мышления и социальные предпочтения происходили из рациональной морали и профессиональной этики, сконцентрированной вокруг репутационного принципа честности. Он – безусловный противник монополий и открытый сторонник конкуренции, но конкуренции честной. И эту мысль он высказывал неоднократно в своих воспоминаниях.

Что же касается его гражданских предпочтений, то они были продиктованы «правилами игры» в лояльность к власти и политическому строю в целом. Или, по крайней мере, он старался аккуратно выдержать нейтралитет. Последнее «терпение» гарантировало ему реализацию себя как высокого профессионала и в общем безбедную жизнь состоявшейся личности. О людях, подобных себе, он писал: «...терпение... можно объяснить только духом времени, в которое приходилось покоряться всему, что приходило в голову начальнику, пользующемуся милостью государя; иначе можно было умереть с голоду» [1:1, 400]. В понятие «дух времени» Дельви́г, скорее всего, вкладывает современный по значению смысл философского термина «этоса», квинтэссенцию которого он весьма емко выразил короткой фразой «лучше быть вором, чем изменником» [1:2, 222]. Сразу понятно, что расположено в ценностном приоритете.

Символически высокий статус в обществе позволял такому человеку как барон Дельви́г любую и даже очень жесткую этическую оценку *status'a quo*, но при этом удерживал от социальной и, тем более, политической критики. В итоге высокий профессионал неизбежно превращался в *гражданского «молчальника»*, несмотря на наличие у него вполне определенной общественной позиции (носитель «особого мнения», как принято было тогда говорить [1:2, 347]). Такой человек, как метко подметил Дельви́г, опасался даже простого знакомства с людьми, которых можно было считать «хоть сколько-нибудь либеральными», что, однако, не мешало другим превращать их в объект открытых насмешек [1:1, 296].

Критику существующих порядков барон Дельви́г все же иногда позволял себе, особенно когда это касалось жестокости властей и чиновничьих злоупотреблений. Но при этом он чаще всего списывал все на психические особенности начальствующих персон. Благо примеров телесных наказаний в ту эпоху было предостаточно и всем им,

разумеется, не было никакого оправдания, но Дельвиг все же концентрирует внимание читателя не на системе, а на психологических склонностях к бесчеловечности отдельных лиц в империи. Не случайно он подробно разбирает в своих мемуарах характер и карательные действия своего тогдашнего шефа по министерству путей сообщения, графа Клейнмихеля, которого тогда многие считали наследником Аракчеева. Дельвига, конечно же, удивляло, что общество «не протестовало против подобных жестокостей», но возмущало все же, прежде всего, то, что телесные наказания применялись против тех молодых дворян, кто по сословному статусу своему не могли быть подвергнуты телесным карам, несмотря на тяжесть проступка. И даже если он и не оправдывал в полной мере саму систему преступлений-и-наказаний в николаевской России, все же его критика касалась изуверства отдельных лиц, а защищал он все же сословные «права человека» и не более того [1:1, 413-416].

Уйдя в отставку и обдумывая свой профессиональный опыт, успехи и неудачи на поприще государственного служения, Дельвиг без какой-либо иронии сформулировал те, как он выразился, «качества», которые необходимы для занятия высших должностей в империи: «а – смолоду быть известным государю; б – принадлежать к одной из сильных придворных партий; в – по месту воспитания, роду службы или другим отношениям принадлежать к тому обществу, из которого берутся люди на высокие должности с тем, чтобы хотя с некоторыми из них состоять в товарищеских или по крайней мере, в приятельских отношениях; г – иметь такое состояние, чтобы жить наравне со всеми прочими, находящимися в положении одинаковом с министрами; и, главное, д – исполнять со всей покорностью все, чего пожелает государь и, даже предугадывать его желания, приводить их в исполнение... я не удовлетворял ни одному из вышеописанных качеств» [1:2, 431]. Пожалуй, антропологически точное и социологически корректное описание *патримониальной модели* власти в неправовом государстве. Но и удивительное *deja vu* не покидает нас, читая эти строки полтора столетия спустя их написания.

Дельвиг все же не был «белой вороной» в верхах российской политической системы. Он руководствовался нормами и ценностями профессиональной этики модернистского образца, но вынужден был мириться с тем, что сам называл негласными «правилами». И поскольку барон никогда не скрывал своего презрения к таким «правилам», его стали подозревать в политической неблагонадежности, что ему казалось «смешным» после 40 лет преданной службы. Но, увы, пишет он, «Россию обвиняют в безлюдье, а вот как легко расстанутся

с людьми, которых сами признают честными и усердными и знающими дело, только из-за того, что они в своих понятиях и убеждениях расходятся» с придворными «правилами», ибо «человек самостоятельный не будет поддерживать произвола, но ведь в общественной деятельности именно вредны те, которые не гнушаются никакими средствами, чтобы, чтобы угодить высокопоставленным лицам» [1:2, 443].

Не имея никакой иной возможности и совершенно не разделяя жизненной философии разрушителей (или уже: революционеров), барон Дельви́г бросает этический вызов системе. И он по-прежнему через публикацию его воспоминаний звучит «набатом» в отечественном публичном пространстве. Однако сколь часто с тех времен мы сталкивались с таким семантически амбивалентным человеком в царский, советский и постсоветский периоды нашей истории – просто не поддается подсчету. Вполне можно считать это нашим «*русским стандартом*». Но таковым был отечественный путь в современность. А из этой колеи истории выход непростой и, похоже, очень долгий.

Список литературы

1. *Дельви́г А.И.* Полвека русской жизни. Воспоминания А.И. Дельви́га, 1820-1870. В 2-х томах. Москва: Academia, 1930 (недавнее переиздание мемуаров было сделано в одном томе: Полвека русской жизни. М.: ООО ИПК «Виадук», ИП Соловьёв И.В., 2014.).
2. *Заславский Д.О.* Разбой под видом честных спекуляций // Дельви́г А.И. Полвека русской жизни. Т.1. Москва: Academia, 1930. С. 5-12.
3. *Тимошенко С.П.* Инженерное образование в России. Люберцы: Издательство ВИНТИ, 1997.
4. *Штрайх С.Я.* Разоблаченная фальсификация // Дельви́г А.И. Полвека русской жизни. Т.1. Москва: Academia, 1930. С. 13-24.
5. *Элиас Н.* О процессе цивилизации. Социогенетическое и психогенетическое исследование. М., СПб.: Университетская книга, 2001.